# Сумка с книгами

# Уильям Сомерсет Моэм

Одни читают для пользы, что похвально; другие для удовольствия, что безобидно; немало людей, однако, читают по привычке, и это занятие я бы не назвал ни безобидным, ни похвальным. К этим последним отношусь, увы, и я. Разговор, в конце концов, нагоняет на меня скуку, от игры я устаю, а собственные мысли рано или поздно истощаются, хотя, как утверждают, размышления — лучший отдых благоразумного человека. Тут-то я и хватаюсь за книгу, как курильщик опиума за свою трубку. Чем обходиться без чтения, я уж лучше буду читать каталог универмага «Арми энд нейви» или справочник Брэдшо;[[1]](#footnote-1) кстати, каждое из этих изданий доставило мне немало приятных часов. Было время — я не выходил из дому без букинистического списка в кармане. По мне, так нет чтения лучше. Разумеется, такое пристрастие к чтению столь же предосудительно, как тяга к наркотику, и я не перестаю дивиться глупости великих книгочеев, которые только потому, что они книгочеи, презирают людей необразованных. Разве, с точки зрения вечности, достойнее прочитать тысячу книг, чем поднять плугом миллион пластов? Давайте признаемся, что мы так же не можем без книги, как иные без опия, — кому из нашей братии неведомы беспокойство, чувство тревоги и раздражительность, когда приходится подолгу обходиться без чтения, и вздох облегчения, что исторгает из груди вид странички печатного текста? — и будем по этой причине столь же смиренны, как несчастные рабы иглы или пивной кружки.

Подобно наркоману, который не выходит из дому без запаса губительного зелья, я ни за что не отправлюсь в поездку без достаточного количества печатной продукции. Книги мне так необходимы, что когда в поезде я не вижу ни одной в руках моих дорожных попутчиков, то прихожу в самое настоящее смятение. Когда же мне предстоит долгое путешествие, проблема эта вырастает до грозных размеров. Жизнь меня научила. Как-то раз из-за болезни я на три месяца застрял в горном городишке на Яве. Я прочитал все привезенные с собой книги и, не зная голландского языка, был вынужден накупить школьных хрестоматий, по которым смышленые яванцы, очевидно, изучают французский и немецкий. Так по прошествии двадцати пяти лет я перечитал холодные пьесы Гете, басни Лафонтена, трагедии нежного и строгого Расина. Я преклоняюсь перед Расином, но должен признать, что читать его пьесы одну за другой требует от человека, которого донимают кишечные колики, известных усилий. С той поры я положил за правило брать в поездки самый большой мешок, предназначенный для грязного белья, доверху набитый книгами на любой случай и настроение. Он весит добрую тонну, под его тяжестью спотыкаются и крепкие носильщики. Таможенники косятся на него с подозрением, однако в испуге отшатываются, стоит мне их заверить, что в нем одни только книги. Неудобство сумки заключается в том, что именно то издание, которое мне вдруг приспичило почитать, обязательно оказывается на самом дне, и чтобы до него добраться, приходится вываливать на пол все содержимое. Но если б не это, я бы, скорее всего, так никогда и не узнал необычную историю Оливии Харди.

Я путешествовал по Малайе, останавливаясь там и тут — на неделю-другую, если имелась гостиница или пансион, и на пару дней, если нужно было пожить в доме местного плантатора или начальника округа, чьим гостеприимством мне не хотелось злоупотреблять; в тот раз я оказался в Пенанге. Это милый городок, и тамошняя гостиница, на мой взгляд, вполне приемлема, но приезжему там решительно нечем заняться, так что я тяготился избытком свободного времени. В один прекрасный день я получил письмо от человека, которого знал только по имени. То был Марк Фезерстоун, исполнявший обязанности Резидента — сам Резидент отбыл в отпуск — в местечке под названием Тенгара. Там правил султан, и, как сообщалось в письме, должно было состояться какое-то празднество на воде, которое, считал Фезерстоун, могло бы меня заинтересовать. Он писал, что будет рад принять меня на несколько дней. Я телеграфировал, что с удовольствием принимаю приглашение, и на другой день выехал поездом в Тенгару. Фезерстоун встретил меня на перроне. На вид я бы дал ему около тридцати пяти. Он был высокий красивый мужчина с выразительными глазами и сильными суровым лицом. У него были жесткие черные усы и кустистые брови. Он больше походил на военного, чем на государственного чиновника. В своих белых парусиновых брюках и белом тропическом шлеме он выглядел просто великолепно, одежда сидела на нем точно влитая. Держался он несколько скованно, что было странно для такого рослого парня с решительной повадкой, но я отнес это исключительно за счет того, что общество загадочного создания, именуемого писателем, ему в новинку, и понадеялся в скором будущем вернуть ему непринужденность.

— Мои слуги присмотрят за вашим барангом,[[2]](#footnote-2) — сказал он, — а мы отправимся в клуб. Дайте им ключи — они выложат вещи к нашему возвращению.

Я объяснил, что багажа у меня много и проще взять самое необходимое, а все прочее оставить на вокзале, но он не хотел об этом и слышать:

— Ни малейшего неудобства. В моем доме будет надежнее. Баранг всегда лучше держать при себе.

— Хорошо.

Я вручил ключи и квитанцию на чемодан и сумку с книгами слуге-китайцу — тот стоял чуть позади моего любезного хозяина. За вокзалом нас ждал автомобиль, в него мы и сели.

— Вы играете в бридж? — спросил Фезерстоун.

— Играю.

— Мне казалось, большинство писателей не играют.

— Не играют, — согласился я. — В литературной среде бытует мнение, что игра в карты — признак слабоумия.

Клуб представлял собой бунгало, милое, хотя и незамысловатое; имелись большая читальня, бильярдная на один стол и комнатка для игры в карты. В самом клубе мы застали двух-трех человек, читавших английские еженедельники; на теннисных кортах играли несколько пар. На веранде было больше народа — сидели, курили, наблюдали за игрой, потягивали напитки. Фезерстоун представил меня двум или трем. Однако смеркалось, и скоро игроки едва различали мяч. Фезерстоун предложил одному из тех, с кем только что меня познакомил, сыграть роббер. Тот согласился. Фезерстоун поискал глазами четвертого партнера. Его взгляд остановился на мужчине, сидевшем несколько на отшибе. Фезерстоун подумал — и пошел к нему. Они обменялись парой слов, подошли к нам, и мы проследовали в игорную. Поиграли мы хорошо. Я не очень присматривался к своим случайным партнерам. Они заказали мне выпивку за свой счет, и я, как временный член клуба, в свою очередь заказал им за собственный. Порции, впрочем, были весьма умеренные, виски на три четверти с содовой, и за два часа, что мы провели за картами, каждый получил возможность продемонстрировать свою щедрость, не злоупотребляя спиртным. Когда до закрытия клуба времени осталось как раз на последний роббер, мы перешли на джин с горькой настойкой. Роббер закончился, Фезерстоун затребовал клубный реестр и внес в него выигрыши и проигрыши.

— Что ж, мне пора, — произнес, поднимаясь, один из игравших.

— Назад в Имение? — спросил его Фезерстоун.

— Ага, — кивнул тот и обратился ко мне: — Вы завтра придете?

— Надеюсь.

— Заеду за моей благоверной и — домой обедать, — сказал другой.

— Нам тоже пора собираться, — заметил Фезерстоун.

— Я готов, дело за вами, — ответил я.

Мы сели в машину и отправились к Фезерстоуну. Ехали довольно долго. Было темно, я мало что видел, но понял, когда дорога довольно круто пошла в гору. Так мы добрались до Резиденции.

Вечер как вечер, приятный, но отнюдь ничем не отмеченный, таких вечеров у меня бывало предостаточно, всех не упомнить. И от этого вечера я тоже не ждал ничего особенного.

Фезерстоун провел меня в гостиную — уютную, но несколько заурядную. В ней стояли большие плетеные кресла, обитые кретоном, стены были сплошь увешаны фотографиями в рамках, на столах и столиках валялись какие-то бумаги, журналы, служебные отчеты вперемешку с трубками, желтыми коробками сигарет из беспримесного табака и розовыми жестянками с табаком. На вытянутых в ряд книжных полках беспорядочно теснились книги с корешками, попорченными плесенью и полчищами белых муравьев. Фезерстоун провел меня в отведенную мне комнату и удалился со словами:

— Перед обедом выпьем джину с настойкой. За десять минут управитесь?

— Без труда, — ответил я.

Я принял ванну, переоделся и спустился на первый этаж. Фезерстоун, управившийся еще быстрее, принялся готовить джин, заслышав мои шаги на деревянной лестнице. Мы пообедали. Поговорили. Празднество, посмотреть которое меня пригласили, должно было состояться через день, но Фезерстоун сообщил, что еще до этого меня примет султан, о чем он договорился.

— Милейший старик, — сказал он. — Да и во дворце есть на что поглядеть.

После обеда мы еще немного побеседовали; Фезерстоун завел граммофон, мы пролистали последние прибывшие из Англии еженедельники. Потом отправились спать. Фезерстоун заглянул узнать, не нужно ли мне чего.

— Боюсь, книг вы с собою не прихватили, — заметил он, — а то мне решительно нечего читать.

— Книг? — воскликнул я и указал на сумку. Она стояла стоймя, раздувшись с одного бока, так что напоминала наклюкавшегося горбатого карлика.

— Так у вас там книги? А я думал — грязное белье, складная койка или еще что. Найдется что-нибудь для меня?

— Выбирайте сами.

Слуги Фезерстоуна развязали сумку, но, убоявшись зрелища, которое им открылось, этим и ограничились. За долгие годы я наловчился ее вытряхивать. Завалив ее на бок, я вцепился в кожаное дно и попятился, потянув за собой мешок, который отдал свое содержимое. Книги потоком хлынули на пол. Фезерстоун взирал на это с обалделым видом.

— Неужто вы и вправду возите с собой всю эту библиотеку? Надо же так обмануться!

Он наклонился и стал быстро переворачивать книги, проглядывая названия. Книги были самые разные. Томики стихов, романы, философские монографии, критические исследования (говорят, книги о книгах бесполезны, но читать их, ей-богу, весьма приятно), жизнеописания, исторические сочинения; книги для чтения во время болезни и книги для чтения, когда живой и бодрый ум жаждет вступить в единоборство с какой-нибудь проблемой; книги, которые всю жизнь хотелось прочесть, да дома за суетой все было недосуг; книги для чтения в плавании, когда без определенной цели бороздишь на «диком» пароходике проливы, и книги для непогоды, когда каюта скрипит сверху донизу и приходится привязывать себя к койке, чтобы не вывалиться; книги отобранные исключительно из-за толщины, — их берут с собой, когда надо путешествовать налегке, и книги, которые можно читать, когда нет сил читать все другое. В конце концов, Фезерстоун отобрал недавно вышедшее жизнеописание Байрона.

— Ага, что я вижу? — сказал он. — Помнится, я читал на нее рецензию.

— Думаю, очень хорошая книга, — ответил я. — Сам я еще не успел прочесть.

— Можно взять? На эту ночь мне ее, во всяком случае, хватит.

— Конечно. Берите любые.

— Спасибо, мне этой достаточно. Что ж, спокойной вам ночи. Завтрак в половине девятого.

Когда я утром спустился в гостиную, старший слуга сообщил, что Фезерстоун уже с шести часов за работой, но скоро будет. Дожидаясь его прихода, я разглядывал книги на полках.

— Я вижу, у вас тут отменное собрание изданий по бриджу, — заметил я, когда мы сели за завтрак.

— Да, покупаю все, что выходит. Я очень увлекаюсь бриджем.

— Парень, с которым мы вчера играли, — хороший игрок.

— Это который? Харди?

— Имен не помню. Не тот, который собирался заехать за женой, а другой.

— Да, Харди. Поэтому я его и пригласил. Он в клубе нечастый гость.

— Надеюсь, сегодня он явится.

— Я бы не стал на это рассчитывать. У него плантация миль за тридцать от города. Не так уж и близко, чтобы приезжать только ради партии в бридж.

— Он женат?

— Нет. То есть да. Но жена его — в Англии.

— Мужчинам на этих плантациях без жен, верно, страшно одиноко, — заметил я.

— Ну, ему еще не так худо, как некоторым. Не думаю, чтобы он очень рвался бывать в обществе. В Лондоне, по-моему, ему было бы так же одиноко.

В том, как произнес это Фезерстоун, я уловил нечто не совсем обычное. Самим своим тоном он словно захлопнул какую-то дверцу — иначе я просто не могу описать. Казалось, он разом от меня отдалился. Такое впечатление, будто ты шел поздним вечером по улице, на минутку остановился полюбоваться в освещенное окно на уютную комнату, и тут невидимая рука внезапно опустила штору. Его глаза, обычно откровенно смотревшие в лицо собеседнику, на этот раз уклонились от моего взгляда, и у меня сложилось впечатление, что гримаса боли, мелькнувшая у него на лице, мне отнюдь не привиделась. Оно на миг передернулось, как бывает при невралгии. Мне ничего не приходило на ум, да и Фезерстоун тоже молчал. Я понял, что его мысли отвлеклись от меня и от темы нашего разговора и обратились к вещам, мне неизвестным. Вскоре, однако, он с едва заметным, но явным вздохом встрепенулся и усилием воли взял себя в руки.

— После завтрака я сразу отправлюсь на службу, — сказал он. — А вы чем намерены заняться?

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь. Буду себе бездельничать. Прогуляюсь до центра, погляжу на город.

— Достопримечательностей у нас раз-два и обчелся.

— Тем лучше, а то они мне до смерти надоели.

Как выяснилось, вида с Фезерстоуновой веранды мне хватило на все утро. А вид был из самых волшебных, что мне доводилось встречать в ФМШ.[[3]](#footnote-3) Дом стоял на вершине холма, к нему прилегал большой ухоженный сад. Огромные деревья придавали саду удивительное сходство с английским парком. В нем имелись обширные газоны, на которых темнокожие худые тамилы косили траву; их движения были неспешны и прекрасны. Дальше, у подножия холма, плотные джунгли шли до берега широкой извилистой быстротекущей реки, а за ней, насколько хватало взгляда, простирались поросшие лесом холмы Тенгары. Контраст между аккуратными газонами с их неожиданно английским обликом и дикими зарослями джунглей, начинающихся сразу за садом, приятно будоражил воображение. Я сидел, читал и покуривал. Моя профессия — узнавать все о людях, и я задался вопросом: как этот мирный вид, исполненный тем не менее трепетного и темного смысла, действует на Фезерстоуна, у которого он постоянно перед глазами? Фезерстоун видит его во всякое время суток — на рассвете, когда поднимающийся от реки туман окутывает его в призрачные покровы; в полуденном блеске; наконец, в тот сумеречный час, когда тени крадучись выползают из джунглей, как воинство, осторожно пробирающееся по неразведанной местности, и вот уже укрывают безмолвием ночи зеленые газоны, и громады цветущих деревьев, и гордые плюмажи кассии. И я задумался: а что, если нежный и, однако же, странно зловещий характер ландшафта, незаметно для самого Фезерстоуна накладываясь на его психику и одиночество, наделил его некими тайными свойствами, так что жизнь, которую он ведет, — жизнь способного администратора, спортсмена и доброго малого, — время от времени кажется ему не совсем настоящей? Я улыбнулся своим фантазиям, ибо наша беседа вечером накануне решительно не обнаружила в нем какого-либо томления духа. На меня он произвел впечатление славного малого. Он учился в Оксфорде и состоял в хорошем лондонском клубе. Похоже, он придавал большое значение своему положению в обществе. Он был джентльменом и не забывал о том, что принадлежит к лучшему сословию, чем большинство англичан, с которыми его сводила жизнь. Столовую его дома украшали разнообразные серебряные кубки, из чего я заключил, что он преуспевает в спортивных играх. Он играл в теннис и на бильярде. На отдыхе он занимался охотой и, заботясь о фигуре, соблюдал тщательную диету. Он охотно распространялся о том, чем займется, уйдя на пенсию. Его мечтой было зажить сельским джентльменом: домик в Лестершире, пара охотничьих собак и соседи, с которыми можно сыграть в бридж. Будет идти пенсия, есть и собственный небольшой капитал. Пока же он упорно трудился, выполняя свою работу если не с блеском, то, безусловно, со знанием дела. Не сомневаюсь, что в глазах начальства он был надежным исполнительным работником. Шаблон, по которому его скроили, был мне слишком знаком, чтобы вызывать особенный интерес. Он напоминал собою роман — тщательно написанный, правдивый и дельный, однако несколько заурядный, а потому похожий на что-то уже читанное, так что вяло перелистываешь страницы, зная, что книга не удивит, не затронет души.

Но люди непредсказуемы, и глуп тот, кто внушает себе, будто ему ведомо, на что человек способен.

Днем Фезерстоун повел меня к султану. Нас встретил один из его сыновей, застенчивый улыбающийся юноша, выполняющий при отце роль адъютанта. На нем был изящный синий костюм, однако поверх брюк он носил саронг[[4]](#footnote-4) из желтой материи в белый цветочек, на голове — красную феску, а на ногах — американские ботинки из грубой кожи. Построенный в мавританском стиле, дворец напоминал большой кукольный дом и был выкрашен в ярко-желтый цвет — цвет правящей династии. Нас провели в просторную комнату, обставленную мебелью, какую можно найти в английском пансионе на море, только кресла были обиты желтым шелком. На полу лежал брюссельский ковер, а на стенах висели фотографии в роскошных позолоченных рамах, запечатлевшие султана при отправлении различных государственных обязанностей. В стеклянной горке было выставлено большое собрание вышивок тамбуром, все с изображением разнообразных фруктов. Вошел султан, с ним несколько человек свиты. На вид ему было около пятидесяти; низенький и полный, он был облачен в брюки и китель из материи в крупную белую и желтую клетку; вокруг талии у него был обмотан очень красивый желтый саронг, на голове — белая феска. В больших красивых глазах светилось дружелюбие. Нам было предложено: из напитков — кофе, из еды — сладкие пирожки, а из курева — манильские сигары. Беседа текла непринужденно, поскольку султан был очень приветлив. Он сказал мне, что ни разу не был в театре и не брал в руки карт, ибо крепок в вере, что у него четыре жены и двадцать четыре ребенка. Единственное, что, видимо, омрачало ему счастье, так это требования элементарной порядочности, из-за которых ему приходилось делить свое время поровну между женами. Он сказал, что с одной час тянется месяц, тогда как с другой пробегает за пять минут. Я заметил, что профессор Эйнштейн — или Бергсон? — высказал аналогичное наблюдение о природе времени, более того, именно в связи с таким вопросом дал человечеству хороший повод для размышлений. Вскоре мы откланялись. На прощанье султан подарил мне несколько изящнейших белых тросточек из ротанга.[[5]](#footnote-5)

Вечером мы отправились в клуб. Когда мы вошли, один из наших вчерашних партнеров поднялся из кресла.

— Не сгонять ли робберок? — предложил он.

— А где наш четвертый? — спросил я.

— Ну, тут у нас найдутся ребята, которые будут только рады сыграть.

— А тот, с кем мы играли вчера? Я забыл его имя.

— Харди? Его нет.

— Ждать его не имеет смысла, — сказал Фезерстоун. — Он редко бывает в клубе. Я удивился, когда вчера его увидел.

Не знаю, почему у меня возникло впечатление, что за самыми обычными словами этих двоих крылось какое-то непонятное замешательство. На меня Харди не произвел впечатления, я даже не помнил, как он выглядит. Четвертый партнер за карточным столом, только и всего. У меня возникло чувство, что они настроены против него. Впрочем, меня это не касалось, и я охотно уселся играть с партнером, которого мы заполучили на этот вечер. На сей раз игра пошла куда веселее. Все напропалую поддразнивали друг друга. Играли не так сосредоточенно, как накануне, много смеялись. Я не мог понять, то ли мои партнеры стали меньше стесняться неожиданно свалившегося на них гостя, то ли общество Харди их как-то сковывало. В половине девятого встали из-за стола, и мы с Фезерстоуном возвратились домой обедать.

После обеда мы развалились в креслах и закурили по манильской сигаре. Беседа почему-то не клеилась. Я затронул одну за другой несколько тем, но так и не сумел расшевелить Фезерстоуна. Мне было подумалось, что за последние сутки он высказал все, что имел сказать. Несколько обескураженный, я замолк. Молчание затягивалось, и снова, не знаю почему, мне почудился в нем скрытый смысл, которого я не мог уловить. Мне стало слегка не по себе. У меня возникло странное чувство, порой возникающее у человека в пустой комнате, — будто кроме него тут есть кто-то еще. До меня дошло, что Фезерстоун сверлит меня настойчивым взглядом. Я сидел у лампы, а он в тени, поэтому я не видел выражения его лица. У него, однако, были большие блестящие глаза, и в полумраке они, казалось, тускло светились. Мне они напомнили новые пуговки на ботинках, мерцающие в отраженном свете. Я не понимал, почему он на меня так уставился. Посмотрев на него и перехватив его упорно прикованный ко мне взгляд, я слабо улыбнулся.

— Любопытная книжка — та, что вы мне вчера одолжили, — неожиданно произнес он; я не мог не заметить, что его голос звучал не вполне естественно. Слова срывались у него с губ, словно кто-то выталкивал их изнутри.

— А, жизнь Байрона? — заметил я беззаботно. — Вы уже прочитали?

— Большую часть. Читал до трех утра.

— Мне говорили, что написано крепко. Правда, до такой степени Байрон меня едва ли интересует — слишком много в нем было страшно посредственного. Даже как-то неудобно за него становится.

— Много, по-вашему, правды в том, что рассказывали о нем и его сестре?

— Августе Ли? Я мало что знаю об этом. «Астарту» я не читал.[[6]](#footnote-6)

— Как вы думаете, они и в самом деле любили друг друга?

— Вероятно. Недаром молва утверждает, что она была единственной женщиной, которую он любил по-настоящему.

— Вы способны это понять?

— Честно говоря, нет. Не то чтобы меня это сильно шокировало, просто кажется очень противоестественным. Впрочем, «противоестественный», пожалуй, не то слово. Такое недоступно моему разумению. Я не способен настроиться таким образом, чтобы подобное представилось возможным. Вы понимаете, о чем я, — именно так писатель постигает своих героев, ставя себя на их место, заражаясь их чувствами.

Я видел, что выражаю свои мысли неясно, но я пытался описать ему ощущения, работу подсознания, которые прекрасно знал по личному опыту, однако не мог точно определить ни одним из известных мне слов. Я продолжал:

— Она, понятно, была ему лишь сводной сестрой, но привычка — как она убивает любовь, так, казалось бы, не допускает и ее зарождения. Если двое с младенчества знают друг друга и всю жизнь тесно общаются, мне трудно вообразить, с чего бы это между ними пробежать внезапной искре, от которой зажжется любовь. Скорее всего, их соединит взаимная привязанность; я же не знаю большей противоположности любви, чем привязанность.

Я едва различил в полумраке тень улыбки, скользнувшей по массивному и, как мне тогда показалось, мрачному лицу моего хозяина.

— Так вы верите только в любовь с первого взгляда?

— Пожалуй, да, но с одной оговоркой — можно встречаться раз двадцать, прежде чем по-настоящему взглянуть друг на друга. У глагола «глядеть» два смысла — активный и пассивный. Большинство тех, с кем нас сводит жизнь, так мало для нас значат, что мы не даем себе труда на них поглядеть. Они проходят перед глазами — и дело с концом.

— Да, но часто приходится слышать о супружеских парах, когда будущие муж и жена были знакомы долгие годы, никому и в голову не приходило, будто они питают друг к другу малейший интерес, а в один прекрасный день они взяли да поженились. Чем вы это объясняете?

— Ну, раз уж вы требуете от меня логики и последовательности, я бы сказал, что их любовь — это любовь другого рода. В конце концов, страстная любовь не единственное основание для вступления в брак; возможно, даже не лучшее. Браки, бывает, заключаются и от одиночества, и между добрыми друзьями, и просто ради удобства. Хотя я говорил, что привязанность — первейший враг любви, я не подумаю спорить с тем, что она же и прекрасный ее заменитель. Не берусь утверждать, что браки, основанные на привязанности, не получаются и счастливейшими.

— Что вы думаете о Тиме Харди?

Я как-то не ждал этого внезапного вопроса, который вроде бы не имел касательства к теме нашего разговора.

— Я о нем особо не задумывался. Мне он показался вполне симпатичным. Почему вы об этом спрашиваете?

— На ваш взгляд, он такой, как все?

— Да. Разве в нем есть что-то особенное? Если б предупредили, я бы к нему пригляделся.

— Он очень сдержанный, правда? Кто про него ничего не знает, тот, пожалуй, на него лишний раз и не посмотрит

Я попытался вспомнить, как он выглядит. За карточным столом мое внимание привлекло в нем только одно — красивые руки. Я тогда еще лениво подумал, что для плантатора очень уж они необычны. Но почему у плантатора руки должны быть не такие, как у всех прочих? — таким вопросом я не удосужился задаться. У Харди руки были крупноваты, но очень изящные, с необыкновенно длинными пальцами и превосходной формы ногтями. Очень мужественные руки, однако же на удивление нежные. Я это отметил и перестал о них думать. Но если вы писатель, то инстинкт и многолетняя привычка закрепляют в вашей памяти впечатления, о которых сами вы и не подозреваете. Порою они, конечно, не соответствуют действительности. Скажем, какая-то женщина остается у вас в подсознании как нечто темное, крупное и волоокое, тогда как на самом деле она довольно миниатюрна и волосы у нее неопределенного цвета. Но это не важно. Иной раз впечатление бывает куда правдивей, чем голая истина. Вот и теперь, стараясь вызвать из глубин сознания облик этого человека, я ощутил в нем какую-то двойственность. Он был чисто выбрит, и его лицо, продолговатое, однако не худое, показалось мне до странности бледным под слоем многолетнего тропического загара. Черты лица я видел неясно. Не знаю, запомнил ли я это с того раза или вообразил только сейчас, но округлый его подбородок оставлял впечатление известной слабости. У него были густые каштановые волосы, едва тронутые сединой, и длинная их прядь постоянно падала на лоб. Он отбрасывал ее назад привычным движением. В его довольно больших карих глазах чуть проглядывала печаль; легко представить, что их мягкая чувственность могла быть весьма обаятельной.

Фезерстоун, помолчав, продолжал:

— Довольно странно, что после стольких лет я здесь снова встретился с Тимом Харди. Впрочем, в ФМШ такое не редкость. Люди переезжают с места на место, и неожиданно сталкиваешься с человеком, с которым водил знакомство много лет тому назад в другой части страны. Я познакомился с Тимом, когда он владел плантацией неподалеку от Сибуку. Вы там бывали?

— Нет. А где это?

— Много северней. Ближе к Сиаму. Специально туда ехать не стоит — место как место, в ФМШ таких полно. Довольно милое. Там был замечательный маленький клуб и жили вполне приличные люди. Директор школы и начальник полиции, доктор, католический священник и управляющий общественным строительством. Сами знаете, обычный набор. Несколько плантаторов. Три-четыре женщины. Я работал тогда помощником начальника округа, это было мое первое назначение. У Тима Харди была плантация миль за двадцать пять. Он жил там с сестрой. У них водились деньги, вот он и купил себе участок. Цены на каучук тогда были высокие, так что он недурно зарабатывал. Мы с ним вроде как подружились. С плантаторами, ясное дело, всегда приходится идти на риск. Среди них встречаются очень порядочные ребята, но они не совсем... — Он поискал словечко или фразу, от которых бы не отдавало снобизмом. — В общем, они не из тех, с кем, как правило, станешь водиться дома. Но Тим и Оливия — эти были мне ровня, вы понимаете, что я имею в виду.

— Оливия — так звали сестру?

— Да. Прошлое у них было далеко не веселое. Родители разошлись, когда дети были еще маленькие, лет семи-восьми, мать забрала Оливию, а Тим остался с отцом. Тима отдали в Клифтон[[7]](#footnote-7) — семья была родом из Западных графств, — и домой он приезжал только на каникулы. Его отец, флотский на пенсии, жил в Фоуи. А вот Оливия отправилась с матерью в Италию. Она училась во Флоренции, в совершенстве знала итальянский язык, да и французский тоже. Все эти годы брат с сестрой ни разу не виделись, но регулярно писали друг другу письма. В детстве они были очень дружны. Насколько я мог понять, их существование, когда родители еще жили вместе, было довольно бурным, сплошные сцены и ссоры, как оно всегда бывает, если супруги в разладе, так что детям волей-неволей приходилось рассчитывать на самих себя. Их подолгу оставляли друг с другом. Потом миссис Харди умерла, Оливия возвратилась в Англию и приехала к отцу. В это время ей исполнилось восемнадцать, а Тиму — семнадцать. Через год разразилась война, Тим пошел на фронт добровольцем, а отец, которому перевалило за пятьдесят, нашел работу в Портсмуте. Как я понимаю, он любил погулять и приложиться к бутылке. В конце войны он свалился и умер после долгой болезни. Родственников у них, видимо, не было. Они оказались последними в довольно древнем роду и наследовали роскошный старый дом в Дорсетшире, который принадлежал семье уже много поколений, однако жить там им было не по средствам, так что дом сдавался. Я, помнится, видел его на фотографиях — настоящий особняк сельского джентльмена, довольно величественный, из серого камня, с изваянием герба над парадным входом и оконными рамами со средниками. Их честолюбивой мечтой было заработать достаточно денег, чтобы переехать в него жить. Они много говорили на эту тему. По их разговорам выходило, что ни он, ни она не собираются вступать в брак, а навсегда останутся друг с другом, словно все уже решено и подписано. Это было несколько странно, учитывая их юные годы.

— А сколько им тогда было? — поинтересовался я.

— Если не ошибаюсь, ему двадцать пять или двадцать шесть, ей на год больше. Когда я впервые приехал в Сибуку, они приняли меня с распростертыми объятиями. Я сразу пришелся им по душе. Видите ли, у них оказалось больше общего со мной, чем с большинством тамошних. По-моему, они обрадовались моему появлению. Особой любовью они там не пользовались.

— Почему? — спросил я.

— Они вели довольно замкнутый образ жизни, и было невозможно не видеть, что общество друг друга они предпочитают всем остальным. Не знаю, замечали ли вы, но такое отношение, похоже, всегда вызывает у людей раздражение. Если они чувствуют, что вы прекрасно можете обходиться без них, им это почему-то бывает не по нутру.

— Неприятное чувство, не правда ли? — заметил я.

— Других плантаторов глодала обида, что Тим сам себе хозяин и имеет собственные деньги. Им приходилось довольствоваться стареньким фордом, а Тим разъезжал в классном автомобиле. Посещая клуб, Тим и Оливия бывали со всеми милы, они участвовали в первенствах по теннису и всем прочем, но возникало впечатление, что они с радостью возвращались к себе домой. Они не отказывались от приглашений отобедать и были очень любезны с хозяевами, но было ясно, что они охотней остались бы дома. Здравомыслящий человек не мог поставить им это в вину. Не знаю, часто ли вам доводилось гостить у плантаторов, но в их домах мрачновато. Сплошь грубая мебель, поделки из серебра и тигровые шкуры. И отвратительная еда. А вот Харди обставил свое бунгало довольно красиво. Ничего особо роскошного — все удобно, по-домашнему и уютно. Гостиная — как в английском сельском особнячке. Чувствовалось, что хозяева любят свои вещи и давно с ними сроднились. Бывать в таком доме было одно удовольствие. Бунгало стояло посредине плантации, но на кромке холма, так что за кронами каучуковых деревьев виднелось далекое море. Оливия тщательно следила за садом, он был у нее просто великолепный. В жизни не видел такого разнообразия канн. Обычно я приезжал к ним на субботу и воскресенье. До моря было с полчаса езды, мы брали с собой еду, купались и ходили под парусом. У Тима была маленькая шлюпка. Славные были дни. Я и не представлял, что можно так наслаждаться жизнью. Там прекрасное побережье, мы и вправду проводили время в высшей степени романтично. А затем, вечерами, раскладывали пасьянсы, играли в шахматы или заводили граммофон. Еда тоже была чертовски отменная — приятное разнообразие по сравнению с обычным тамошним рационом. Оливия научила повара готовить итальянские блюда, и мы с огромным наслаждением уплетали макароны, ризотто,[[8]](#footnote-8) клецки и другие подобные кушанья. Я против воли завидовал их жизни, безмятежной и радостной, а когда они заводили разговор про то, чем займутся, насовсем возвратившись в Англию, я обычно вставлял, что они всегда будут вздыхать о здешней жизни.

«Здесь мы очень счастливы», — говорила Оливия.

У нее была обаятельная манера поглядывать на Тима искоса бросая из-под длинных ресниц долгий взгляд.

В собственном доме они держались совсем по-другому, чем за его стенами, — раскованно и сердечно. Это все признавали; должен сказать, что люди любили у них бывать. Они частенько приглашали гостей. У них был особый дар, благодаря которому гости чувствовали себя легко и свободно. Очень счастливый был дом, если вы знаете, что я хочу сказать. Все, понятно, видели, что они друг к другу очень привязаны, — это бросалось в глаза. И что бы там ни болтали про их высокомерие и эгоизм, людей не могла не трогать их взаимная нежность. Говорили, что будь они мужем и женой — и то бы не жили дружнее, а поглядеть на иные супружеские пары, так сравнение напрашивалось само собой: рядом с ними большинство браков смотрелись не лучшим образом. Одни и те же мысли, казалось, приходили к ним одновременно. У них были свои, непонятные для других, шутки, над которыми они смеялись, как дети. Они так мило опекали друг друга, были такие веселые и счастливые, что в их обществе человек — как бы это лучше сказать — и вправду отдыхал душой. Других слов не найти. Погостив у них пару дней, ты, уезжая, чувствовал, что отчасти проникся их безмятежностью и мягкой радостью. Словно промыл душу родниковой водой. Как будто от чего-то очистился.

Столь восторженные речи были необычны для Фезерстоуна. В своем нарядном белом коротком пиджаке того фасона, что прозывается «зад застудишь», он выглядел таким собранным, усы у него были так ровно подстрижены, а густые курчавые волосы так тщательно расчесаны, что высокопарные его излияния слегка меня ошарашили. Я, однако, сообразил, что на свой неумелый лад он пытается выразить нечто глубоко прочувствованное.

— Как она выглядела, Оливия Харди? — спросил я.

— Сейчас покажу, у меня много любительских снимков.

Он встал, подошел к полке и вернулся с толстым альбомом. Обычный набор — посредственные фотографии различных компаний, неприкрашенное сходство отдельных снимков людей с оригиналами. Снимались в купальных костюмах, в шортах или в теннисной форме, лица у всех, как правило, перекошены из-за яркого солнца или в морщинках и складках от смеха. Я узнал Харди: за десять лет он не очень изменился, непокорная прядь и тогда свисала ему на лоб. Поглядев на снимки, я яснее его припомнил. Они запечатлели его молодым, милым и полным сил. Лицо его привлекало живостью черт, чего я как раз не отметил тогда в клубе. В глазах искрилась и плясала жажда жизни, что было видно даже на выцветшем снимке. Я взглянул на фотографию его сестры. Купальник хорошо обрисовывал ее ладную, крепко сложенную, но при этом тонкую фигуру. Ноги у нее были длинные и стройные.

— Они довольно похожи, — заметил я.

— Да, хотя она была годом старше, они вполне могли сойти за близнецов до того были похожи. У обоих один и тот же овал лица, одинаковая бледная кожа, никакого румянца, одни и те же ласковые карие глаза, удивительно чистые и подкупающие, так что становилось понятно: как бы они себя ни вели, сердиться на них просто невозможно. И оба отличались врожденным изяществом, благодаря чему могли носить что угодно, позволять себе неряшливость в одежде — и все равно очаровательно выглядеть. Теперь-то, думаю, он утратил это качество, а ведь оно у него было, было, когда мы познакомились. Они всегда напоминали мне брата с сестрой из «Двенадцатой ночи».[[9]](#footnote-9) Вы понимаете, о ком я.

— Виолу и Себастиана.

— Они, казалось, не полностью принадлежали нашему времени. Было в них что-то елизаветинское.[[10]](#footnote-10) У меня возникало ощущение — думаю, не только по молодости лет, — что они какие-то удивительно романтичные. Их было легко представить живущими в Иллирии.[[11]](#footnote-11)

Я еще раз глянул на один из снимков.

— У девушки, судя по ее виду, характер был много тверже, чем у брата, — заметил я.

— Много тверже. Не знаю, назвали бы вы Оливию прекрасной, но она была страшно привлекательной. В ней чувствовалась поэзия, своего рода лирическое начало, оно окрашивало ее движения, поступки, все-все. Оно как бы приподнимало ее над будничными заботами. В лице у нее было столько искренности, в манере держаться столько смелости и независимости, что... ну, не знаю, а только обычная красота выглядела по сравнению с этим пресной и плоской.

— Вы говорите так, словно были в нее влюблены, — вставил я.

— Конечно, был. Я думал, вы сразу догадаетесь. Я был в нее по уши влюблен.

— Любовь с первого взгляда? — улыбнулся я.

— Да, пожалуй, но с месяц или около того я этого не понимал. А когда меня вдруг осенило, что мое чувство к ней — не знаю, как лучше описать, это было какое-то оглушительное смятение, завладевшее всем моим существом, — что это любовь, тут я понял, что оно возникло с самого начала. И не в одной миловидности было дело, хотя она была невероятно пленительна, не в белой бархатной коже, не в том, как на лоб падали волосы, и не в сдержанном очаровании ее карих глаз — нет, тут было нечто большее. Когда она была рядом, возникало ощущение благодати, вы чувствовали, что можно дать себе отдых, быть самим собой и не притворяться кем-то другим. Чувствовали, что она не способна на подлость. Было невозможно представить, чтобы она могла завидовать или злобствовать. Она, казалось, обладала природной щедростью души. В ее обществе вы могли промолчать добрый час и, однако, почувствовать, что прекрасно провели время.

— Редкий дар, — заметил я.

— Она была чудесным товарищем. Стоило что-нибудь предложить, как она с радостью соглашалась. Я в жизни не встречал девушки покладистей. Вы могли подвести ее в самую последнюю минуту, и, как бы она ни огорчалась, это не имело последствий. При следующей встрече она была все та же сердечность и безмятежность.

— Почему вы на ней не женились?

У Фезерстоуна потухла сигара. Он выбросил окурок и не спеша зажег новую. Он не торопился с ответом. Человеку, живущему в высокоцивилизованной стране, может показаться странным, что Фезерстоун решил поделиться сокровенным с лицом посторонним; мне это странным не показалось. Со мной такое случалось не впервой. Люди отчаянно одинокие, живущие в удаленных уголках земли, находят облегчение в том, чтобы поведать кому-нибудь, с кем скорее всего больше не встретятся, тайну, которая, возможно, долгие годы днем давила на мысли, а ночами — на сны. Подозреваю, что уже одно то, что вы писатель, вызывает таких людей на откровенность. Они чувствуют, что их рассказ пробудит у вас бескорыстный интерес, и поэтому легче будет раскрыть перед вами душу. К тому же, как все мы знаем по личному опыту, рассказывать о своей особе всегда приятно.

— Почему вы на ней не женились? — спросил я.

— Я об этом мечтал, — ответил Фезерстоун после долгого молчания, — но не решался сделать предложение. Она была со мной неизменно мила, мы легко находили общий язык, были добрыми друзьями, и все же меня никогда не оставляло чувство, что ее окружает какая-то тайна. Хотя она была такой простой, такой искренней и естественной, в ней все время ощущалось глубоко запрятанное ядрышко отчужденности, как будто в своей святая святых она хранила — нет, не загадку, но некую неприкосновенность души, до которой никто из смертных не был допущен. Не знаю, может, я говорю непонятно.

— Мне кажется, я понимаю.

— Я объяснял это ее воспитанием. О матери они не говорили, но у меня почему-то возникло впечатление, что она была из тех невротических, легковозбудимых женщин, что разрушают собственное счастье и портят кровь своим близким. Я подозревал, что во Флоренции она жила довольно беспорядочной жизнью, и это натолкнуло меня на мысль, что в основе восхитительной безмятежности Оливии кроется огромное усилие воли и что ее отчужденность не более чем своего рода стена, которой она отгородилась от познания всего постыдного в жизни. И уж конечно, эта ее отчужденность брала в плен. Если бы она вас полюбила и вы на ней женились, вам, в конце концов, удалось бы добраться до скрытых корней ее тайны, — от такой мысли сладко заходилось сердце, и вы понимали, что когда б вы разделили с ней эту тайну, это стало бы исполнением всех ваших самых заветных желаний. Бог с ним, с райским блаженством. Но знаете, это так же не давало мне жить, как запретная комната в замке — жене Синей Бороды. Передо мной открывались все комнаты, но я бы ни за что не успокоился, не проникнув в ту, последнюю, что была на запоре.

Я заметил на стене под потолком чик-чака, головастую домашнюю ящерку коричневого цвета. Это мирная маленькая тварь, увидеть ее в доме — добрая примета. Она, замерев, следила за мухой. Внезапно она рванулась, но муха улетела, и ящерка, как-то судорожно дернувшись, опять застыла в странной неподвижности.

— Я не решался и еще по одной причине. Меня пугало, что, если я сделаю ей предложение, а она откажет, мне больше не позволят так запросто наведываться к ним в гости. Этого я решительно не хотел, я страшно любил там бывать. Ее общество дарило мне счастье. Но вы знаете, как оно бывает — иной раз невозможно удержаться. Я таки сделал ей предложение, правда, это получилось почти случайно. Как-то вечером после обеда мы сидели вдвоем на веранде, и я взял ее за руку. Она тут же спрятала руку.

«Зачем вы так?» — спросил я.

«Не люблю, когда ко мне прикасаются, — ответила она, с улыбкой повернувшись ко мне вполоборота. — Вы обиделись? Не обращайте внимания, такая уж у меня прихоть, и с этим ничего не поделать».

«Неужели вам ни разу не пришло в голову, что я в вас ужасно влюблен?» произнес я. Боюсь, вышло жутко нескладно, но до этого мне не доводилось предлагать руку и сердце, — заметил Фезерстоун не то со смешком, не то со вздохом. — А по-честному, я и после не делал никому предложений. С минуту она помолчала, потом сказала:

«Я очень рада, но хотела бы, чтобы этим вы и ограничились».

«Почему?»

«Я не могу бросить Тима».

«А если он женится?»

«Он никогда не женится».

Я уже зашел достаточно далеко, поэтому решил не останавливаться. Но в горле у меня так пересохло, что говорил я с трудом. Меня била нервная дрожь.

«Оливия, я вас безумно люблю. Больше всего на свете мне хочется, чтобы вы за меня вышли».

Она легко коснулась моей руки — так падает на землю цветок.

«Нет, милый, я не могу», — сказала она.

Я молчал. Мне было трудно произнести то, что хотелось. Я по натуре довольно застенчив. Она была девушкой. Не мог же я объяснять ей, что жить с мужем и жить с братом — не совсем одно и то же. Она была нормальным здоровым человеком; ей, должно быть, хотелось иметь детей; было неразумно подавлять свои естественные инстинкты. Нельзя было так расточать молодые годы. Но она первой нарушила молчание.

«Давайте больше не будем об этом, — сказала она. — Договорились? Раз или два мне показалось, что вы, возможно, неравнодушны ко мне. Тим тоже заметил. Я огорчилась, испугавшись, что это положит конец нашей дружбе. Я этого не хочу, Марк. Мы же прекрасно ладим друг с другом, все трое, нам так весело вместе. Не представляю, как мы будем обходиться без вас».

«Я тоже думал об этом», — согласился я.

«По-вашему, все должно кончиться?» — спросила она.

«Дорогая моя, я этого не хочу, — ответил я. — Вы, верно, знаете, до чего мне приятно к вам приходить. Я еще нигде не чувствовал себя таким счастливым».

«Вы на меня не сердитесь?»

«С какой стати? Это не ваша вина. Просто вы меня не любите. Любили бы и думать забыли про Тима».

«Вы просто прелесть», — сказала она, обвила мою шею рукой и коснулась губами щеки. Мне показалось, что для нее это внесло в наши отношения окончательную ясность. Меня приняли в дом на правах второго брата.

Через несколько недель Тим отплыл в Англию. Съемщик их дома в Дорсете собирался выезжать, и хотя на его место уже имелся желающий, Тим решил, что ему лучше самому приехать и лично обо всем договориться. Заодно он собирался приобрести кое-какое оборудование для плантации. По его расчетам, он должен был задержаться в Англии месяца на три, не больше, и Оливия решила не ехать. В Англии у нее знакомых почитай что и не было, для нее это, можно сказать, была чужая страна, она не возражала пожить одной и приглядеть за плантацией. Конечно, они могли оставить вместо себя управляющего, но это было бы уже не то. Цена на каучук падала, и кому-то из них не мешало быть на месте на всякий случай. Я обещал Тиму за ней присмотреть — если я ей понадоблюсь, мне всегда можно позвонить. Брачное мое предложение не имело ровным счетом никаких последствий. Мы продолжали вести себя так, как будто его и не было. Я даже не знаю, сказала ли она о нем Тиму. Он не подал и вида, что знает. Я, понятно, любил ее по-прежнему, но свои чувства держал при себе. Самообладания мне, как известно, не занимать. Я понимал, рассчитывать не на что — и только надеялся, что со временем моя любовь претворится во что-то другое и мы станем самыми добрыми друзьями. Как ни странно, но, представьте, любовь так и осталась любовью. Видимо, она пустила слишком глубокие корни, чтобы ее можно было полностью вытравить.

Она отбыла в Пенанг с Тимом проводить его на пароход; когда она вернулась, я встретил ее на вокзале и отвез домой. В отсутствие Тима я не мог позволить себе заявляться туда с ночевкой, но по воскресеньям приезжал к позднему завтраку, после которого мы отправлялись на море купаться. Знакомые, проявляя участие, приглашали ее пожить у них, но она отклоняла приглашения. Она редко покидала плантацию. Дел у нее хватало. Она много читала. Ей никогда не бывало скучно, одиночество ее вполне устраивало, а если она и принимала гостей, то лишь потому, что так было принято. Ей не хотелось прослыть неблагодарной. Но удовольствия ей это не доставляло, и она говорила мне, что облегченно вздыхает, когда уходят последние гости и она вновь остается сама с собой в блаженном одиночестве бунгало. Очень странная она была женщина. Непонятно, как можно было в ее годы пренебрегать вечеринками и прочими скромными развлечениями, какие мог предложить наш городишко. В духовном плане, — вы понимаете, что я имею в виду, — она полагалась исключительно на саму себя. Не знаю, откуда пошло, что я в нее влюблен; по-моему, я не выдал себя ни словом, ни взглядом, однако же мне то там, то тут намекали, что это не тайна. Я заключил, что все считают, будто Оливия не уехала в Англию только из-за меня. Одна из дам, некая миссис Серджисон, жена шефа полиции, даже спросила, когда они будут иметь удовольствие меня поздравить. Я, естественно, сделал вид, будто не понимаю ее намеков, но она мне не больно поверила. Все это невольно меня забавляло. Мысль обо мне как о возможном муже была настолько чужда Оливии, что, уверен, она и думать забыла о моем предложении. Не могу утверждать, чтобы она была со мной жестока, по-моему, она вообще была неспособна на жестокость; но она обходилась со мной с той легкой небрежностью, с какой сестры подчас относятся к младшим братьям. Она была старше меня года на два или на три. Она всегда бурно радовалась моим приездам, но ни разу не подумала чем-нибудь ради меня поступиться; со мной она держалась поразительно задушевно, но это получалось у нее само собой, понимаете, так обычно ведешь себя с человеком, которого знаешь всю жизнь и с которым в голову не придет манерничать. Для нее я был отнюдь не мужчиной, а чем-то вроде старого жакета, который носишь не снимая, потому что в нем легко и удобно и можно делать любую работу. Я был бы последним кретином, когда б не видел, что любовью тут и не пахнет.

В один прекрасный день, недели за три-четыре до возвращения Тима, я приехал к ней и заметил, что она плакала. Меня это ошеломило — она всегда держала себя в руках, я ни разу не видел ее расстроенной.

«Вот те на, что случилось?» — спросил я.

«Ничего».

«Не запирайтесь, милая, — сказал я. — Почему вы плакали?»

Она попыталась улыбнуться и ответила:

«И зачем только вы такой наблюдательный! По-моему, я веду себя глупо, но только что пришла телеграмма от Тима. Он сообщает, что задерживается».

«Господи, какая жалость, — сказал я. — Вы, верно, жутко огорчились».

«Я каждый денечек считала. Мне так его не хватает».

«Он объяснил, почему задерживается?»

«Нет, сообщил, что напишет в письме. Я покажу телеграмму».

Я видел, что она очень переживает. Ее обычно спокойный медлительный взгляд был исполнен страха, между бровями обозначилась тревожная складка. Она вышла в спальню и вернулась с телеграммой. Читая, я чувствовал на себе ее беспокойный взгляд. Насколько я помню, текст был такой: «Дорогая отплыть седьмого не получается тчк Пожалуйста прости тчк Подробности письмом тчк Нежно люблю Тим».

«Что ж, возможно, оборудование, за которым он отправился, еще не готово, а без него он не решился отплыть», — предположил я.

«Разве его нельзя было отправить другим рейсом, попозже? Оно все равно еще проваляется в Пенанге».

«Может, задержка связана с домом».

«Тогда почему было так и не сказать? Ведь знает же, что я себе места не нахожу».

«Да он просто не подумал, — заметил я. — В конце концов, до уехавшего не всегда доходит, что оставшиеся могут не знать того, что для него само собой разумеется».

Она снова улыбнулась, уже веселее.

«Пожалуй, вы правы. Вообще-то это похоже на Тима, он всегда отличался легкомыслием и небрежностью. Пожалуй, я и вправду делаю из мухи слона. Наберусь терпения и стану ждать письма».

Самообладания Оливии было не занимать; у меня на глазах она усилием воли взяла себя в руки. Складочка между бровями разгладилась, она вновь стала сама собой — безмятежной, улыбающейся, сердечной. Ей вообще была свойственна мягкость, но в тот день ее небесная кротость просто ошеломляла. Однако же после я не мог не заметить, что она обуздывает беспокойство только тем, что постоянно взывает к своему здравому смыслу. Ее, видимо, одолевали дурные предчувствия. Они не покинули ее и накануне того дня, как должна была прийти почта из Англии. Тревога ее тем более вызывала сострадание, что она изо всех сил пыталась ее скрыть. Я бывал занят по «почтовым» дням, но обещал заехать на плантацию ближе к вечеру узнать новости. Я уже собрался отправиться, когда саис[[12]](#footnote-12) Харди прибыл в автомобиле с настоятельной просьбой от амы[[13]](#footnote-13) немедленно ехать к хозяйке. Ама была достойная пожилая женщина; я еще раньше вручил ей пару долларов, сказав, чтобы она сразу же мне сообщила, если на плантации что случится. Я бросился к своей машине. Ама поджидала меня на ступеньках.

«Утром пришло письмо», — сказала она.

Я не стал дальше слушать и взбежал по ступенькам. В гостиной никого не было.

«Оливия», — позвал я.

Выйдя в коридор, я услышал звуки, от которых сердце у меня екнуло. Ама — она шла за мной по пятам — открыла дверь в спальню Оливии. То, что я слышал, были ее рыдания. Я вошел. Она лежала на постели лицом вниз, все ее тело сотрясалось от рыданий. Я положил руку ей на плечо.

«Что случилось, Оливия?»

«Кто тут?» — вскрикнула она, вскочив на ноги, словно до смерти перепугалась. И затем: «А, это вы». Она стояла передо мной, закинув голову и закрыв глаза, и слезы бежали у нее по щекам. Жуткое зрелище. «Тим женился», всхлипнула она, и лицо у нее исказилось от боли.

Должен признаться, меня на мгновенье охватило ликование, словно в сердце ударило током; меня осенило, что теперь появился шанс и она вдруг да захочет за меня выйти. Знаю, с моей стороны это был чудовищный эгоизм, но вы должны понять, что новость застала меня врасплох. Впрочем, это длилось всего мгновенье; меня растрогало ее страшное горе, и осталась только глубокая жалость к несчастной женщине. Я обнял ее за талию.

«Господи, вот напасть-то, — сказал я. — Пойдемте-ка отсюда в гостиную, вы сядете, и мы обо всем поговорим. А я вам чего-нибудь налью».

Она позволила отвести себя в соседнюю комнату, и мы уселись на диван. Я велел аме принести виски и сифон, смешал порцию покрепче и заставил Оливию пригубить. Я обнял ее и положил ее голову себе на плечо. Все это она покорно сносила. По ее сведенному горем лицу струились крупные слезы.

«Как он мог? — стонала она. — Как он мог?»

«Дорогая моя, — произнес я, — рано или поздно это должно было случиться. Он человек молодой. Не могли же вы рассчитывать, что он так и будет ходить холостым. Что он женился — это только естественно».

«Нет, нет, нет», — всхлипывала она.

В кулаке у нее я заметил скомканное письмо и понял, что оно от Тима.

«Что он пишет?» — спросил я.

Она испуганно дернулась и прижала письмо к груди, словно решила, что я хочу его отнять.

«Пишет, что ничего не мог поделать. Пишет, что выхода у него не было. Что это значит?»

«Ну, понимаете, он по-своему такой же привлекательный, как вы сами. В нем много очарования. Вероятно, он безумно влюбился в какую-то девушку, а она в него».

«Он такой слабовольный», — простонала она.

«Они приезжают?» — спросил я.

«Вчера отплыли. Он пишет, что это ничего не изменит. Он с ума сошел. Разве я смогу здесь остаться?»

Она истерически расплакалась. Было мучительно видеть, как ее, обычно такую сдержанную, раздирают чувства. Я всегда подозревал, что за ее восхитительной безмятежностью скрывается способность к сильным переживаниям. Однако меня просто убило самозабвение, с каким она предавалась своему горю. Держа ее в объятиях, я покрывал поцелуями ее глаза, ее мокрые щеки, ее волосы. По-моему, она не понимала, что я делаю. Да и сам я вряд ли понимал, до того глубоко я был тронут.

«Что мне делать?» — запричитала она.

«Выйти за меня замуж».

Она попыталась высвободиться из моих объятий, но я не позволил.

«В конце концов, это решит все проблемы», — сказал я.

«Как я могу выйти за вас? — простонала она. — Я на несколько лет вас старше».

«Ну, это сущие пустяки — какие-нибудь два-три года. Что мне за дело до такой чепухи?»

«Нет, нет».

«Но почему?» — настаивал я.

«Я вас не люблю», — ответила она.

«Ну и что? Зато я вас люблю».

Не помню, что я ей пел. Я заявил, что постараюсь сделать ее счастливой. Я сказал, что никогда не попрошу у нее того, чего она не в состоянии дать. Я говорил и говорил. Я попытался воззвать к ее здравому смыслу. Я видел, что ей не хочется там оставаться, жить рядом с Тимом и заверил ее, что скоро получу перевод в другой округ. Я подумал, может, хоть это ее соблазнит. Она не может не согласиться, что мы с ней всегда отлично ладили. Она, похоже, немного утихла. Я почувствовал, что она прислушивается к моим словам. Больше того, мне показалось — она понимает, что я ее обнимаю, и это ее утешает. Я заставил ее отхлебнуть еще капельку виски. Дал ей сигарету. Наконец я решил, что можно позволить себе чуть-чуть пошутить.

«Честное слово, не так уж я плох, — заявил я. — Могли бы нарваться на кого и похуже».

«Вы меня не знаете, — сказала она. — Вы обо мне ничегошеньки не знаете».

«Я схватываю на лету», — возразил я.

Она слабо улыбнулась.

«Вы ужасно добрый, Марк».

«Оливия, скажите — да», — умолял я.

Она глубоко вздохнула и долго не поднимала глаз. Но и не шевелилась, я ощущал ее мягкое тело в своих объятиях. Я ждал. Нервы у меня были напряжены до предела, время, казалось, застыло на месте.

«Хорошо», — молвила она наконец, словно и не заметила, что между моей мольбой и ее ответом прошло столько времени.

Я был так взволнован, что не нашел нужных слов. Но когда я попытался поцеловать ее в губы, она отвернулась и не позволила. Я предложил сразу и пожениться, но тут она решительно воспротивилась и настояла, чтобы мы подождали до возвращения Тима. Вы знаете — порой читаешь чужие мысли яснее, чем если бы их произнесли вслух; я видел — она не может до конца поверить в то, что Тим написал ей правду, и все еще цепляется за жалкую надежду, что тут какая-то ошибка и вдруг да он по-прежнему неженат. Это меня уязвило, но я так ее любил, что смирился. Я был готов снести от нее что угодно. Я ее обожал. Она не позволила даже рассказать кому-нибудь о нашей помолвке, взяла с меня клятву, что я ни словом о ней не обмолвлюсь, пока Тим не вернется. Она заявила, что не вынесет даже мысли о поздравлениях и всем остальном. Объявить о женитьбе Тима — она и этого мне не дала. Уперлась — и все. У меня сложилось впечатление, что она решила: если о его женитьбе станет известно, та превратится в свершившийся факт, а этого ей как раз и не хотелось.

Но тут уж от нее ничего не зависело. На Востоке новости распространяются неисповедимыми путями. Не знаю, какие слова вырвались у Оливии, когда она прочитала письмо, но ама, видимо, их услышала; во всяком случае, саис Харди рассказал саису Серджисонов, и стоило мне после этого появиться в клубе, как на меня набросилась миссис Серджисон.

«Я слышала, Тим Харди женился», — заявила она.

«Вот как?» — ответил я с непроницаемым видом, не желая ввязываться в обсуждение.

Она улыбнулась и сообщила, что, как только узнала от своей амы об этом слухе, сразу позвонила Оливии спросить, правда ли это. Оливия ответила довольно невразумительно. Подтвердить не подтвердила, но сказала, что Тим прислал ей письмо с известием о женитьбе.

«Странная она девушка, — заметила миссис Серджисон. — Когда я спросила о подробностях, она сказала, что таковыми не располагает, а когда спросила: „У тебя дух не захватывает?“ — то вообще не ответила».

«Оливия предана Тиму, миссис Серджисон, — возразил я. — Понятно, что его женитьба выбила ее из колеи. Она ничего не знает о жене Тима, поэтому и переживает».

«А когда вы двое намерены пожениться?» — выпалила она.

«Что за нескромный вопрос!» — попробовал я отшутиться.

Она проницательно на меня посмотрела:

«Даете честное слово, что вы с ней не помолвлены?»

Мне не хотелось ни говорить ей заведомую ложь, ни грубо ее осаживать, но я искренне обещал Оливии хранить молчание до возвращения Тима. Я уклонился от прямого ответа:

«Миссис Серджисон, когда мне будет что сообщить, обещаю, что вы первая об этом узнаете. Сейчас же могу сказать лишь одно: больше всего на свете я хотел бы жениться на Оливии».

«Я рада, что Тим женился, — ответила она на это. — Надеюсь, что и она не преминет выйти за вас. Эта парочка вела там, у себя на плантации, патологически нездоровый образ жизни. Слишком много времени они проводили друг с другом и слишком были друг другом поглощены».

Я виделся с Оливией почти каждый день. Чувствуя, что ей не хочется со мной физической близости, я ограничивался поцелуями при встрече и на прощанье. Она была со мной очень милой, заботливой и доброй; я знал, что она радовалась, когда я приходил, и с сожалением меня отпускала. Обычно она любила помолчать, но в те дни на нее напала разговорчивость, которой я раньше за ней не замечал. Но она ни разу не заговаривала о будущем или о Тиме и его жене. Она много рассказывала о том, как жила с матерью во Флоренции. Вела она там удивительно одинокую жизнь, общаясь в основном со слугами и гувернантками, тогда как матушка, насколько я понял, постоянно меняла любовников, вступая в связь с сомнительными итальянскими графьями и русскими князьями. Я подозревал, что к четырнадцати годам она мало чего не знала о жизни. Для нее было естественным совсем не считаться с условностями: в том мире, который она только и знала до восемнадцати лет, об условностях не говорили, потому что их не было. Постепенно к Оливии, видимо, вернулась ее безмятежность; я бы даже подумал, что она начала привыкать к мысли о женитьбе Тима, когда б ее бледность и усталый вид не бросались в глаза. Я твердо решил настоять на немедленной свадьбе сразу же после его возвращения. Короткий отпуск я мог получить в любую минуту, а к концу отпуска рассчитывал добиться перевода на новую должность. В чем она нуждалась, так это в смене обстановки.

День прибытия корабля в Пенанг был, конечно, известен, а вот час — нет, и непонятно было, успеет ли Тим на поезд; я отправил письмо агенту «Полуостровного и Восточного пароходства» с просьбой уведомить меня телеграфом, как только он будет знать точное время. Получив телеграмму, я отправился к Оливии; оказалось, ей только что пришла телеграмма от Тима. Корабль пришвартовался утром, Тим должен был приехать на другой день. По расписанию поезд прибывал в восемь утра, но обычно опаздывал, когда на час, а когда и на шесть часов. Я привез Оливии приглашение от миссис Серджисон приехать (я бы ее подвез) и заночевать у нее, с тем чтобы уже быть на месте и отправиться на вокзал, лишь когда станет известно, что поезд на подходе.

У меня с души будто камень свалился. Я думал, что когда удар наконец обрушится, Оливия перенесет его не столь болезненно. Она успела взвинтить себя до такой степени; что, по моим расчетам, пришла пора разрядиться. Может быть, невестка ей даже полюбится. Всем трем ничто не мешало наладить прекрасные отношения. К моему великому удивлению, Оливия заявила, что не поедет встречать их на станцию.

«Они страшно огорчатся», — сказал я.

«Лучше я подожду их здесь, — произнесла она со слабой улыбкой. — И не спорьте, Марк, я твердо решила».

«А я-то велел моему повару приготовить завтрак на всех», — сказал я.

«Вот и хорошо. Вы их встретите, повезете к себе, угостите завтраком, а уж после этого пусть едут сюда. Я, понятно, отправлю за ними машину».

«Не думаю, чтоб они без вас сели завтракать», — возразил я.

«Сядут, будьте уверены. Если поезд не опоздает, им и в голову не придет позавтракать до прибытия, так что они приедут голодные. Им не захочется пускаться в долгую поездку на пустой желудок».

Я ничего не понимал. Она с таким нетерпением ждала возвращения Тима, а вот теперь пожелала дожидаться в одиночестве, пока мы будем ублажать себя завтраком. Странно. Я предположил, что она очень переживает и хочет до самой последней минуты оттянуть встречу с женщиной, которая приехала занять ее место. Это казалось бессмысленным. На мой взгляд, часом раньше или часом позже — погоды не делало, но я знал о женских причудах, да и в любом случае, как я чувствовал, Оливия не в том настроении, чтобы ее уговаривать.

«Позвоните перед выездом, чтобы я знала, когда вас ждать», — попросила она.

«Позвоню, — сказал я, — только вы не забыли, что я не смогу с ними приехать? Сегодня у меня „лахадский“ день».

Лахад — это город, куда мне полагалось отправляться раз в неделю слушать дела. Путь туда был неблизкий, к тому же приходилось перебираться паромом через реку, что тоже отнимало время, поэтому возвращался я поздно вечером. Там жили несколько европейцев и был клуб, куда мне тоже, как правило, приходилось заглядывать — пообщаться и посмотреть, все ли в порядке.

«Кроме того, — добавил я, — Тим впервые вводит жену в свой дом, так что мое присутствие едва ли желательно. Вот если вам захочется пригласить меня к обеду, я с удовольствием приеду».

Оливия улыбнулась.

«Боюсь, впредь не мне уже рассылать приглашения, а? Придется вам попросить новобрачную».

Она обронила это так беззаботно, что я возликовал. Наконец-то, подумал я, она решила примириться с изменившимися обстоятельствами, больше того, делала это охотно. Она пригласила меня остаться пообедать. Обычно я уезжал от нее около восьми и обедал дома. В тот вечер она была со мной очень милой, чуть ли не нежной. Таким счастливым я не бывал уже много недель, и никогда еще я не любил ее так безнадежно. За обедом я пропустил пару стаканчиков джина с горькой настойкой и, как мне кажется, был в ударе. Знаю, мне удалось ее рассмешить. Я почувствовал, что она наконец освобождается от бремени тяжкого горя. Поэтому я и позволил себе не очень серьезно отнестись к тому, что произошло в конце.

«Вам не кажется, что пришло время попрощаться с задержавшейся, как считают, в девичестве дамой?» — спросила она, и спросила так легко и беспечно, что я, не задумываясь, ответил:

«Ох, любимая, вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что от вашего доброго имени хоть что-то осталось. Не может быть, чтобы вы и вправду считали, будто дамы Сибуку не знают о моих ежедневных визитах к вам на протяжении целого месяца. Общее мнение таково, что если мы еще не поженились, то давно пора это сделать. Не кажется ли вам, что неплохо бы объявить им о нашей помолвке?»

«Ну, Марк, не нужно так уж серьезно относиться к нашей помолвке», — возразила она.

Я рассмеялся.

«Как же прикажете мне к ней относиться? Это вполне серьезно».

Она чуть покачала головой:

«Нет. В тот день я была расстроена и не в себе. А вы были со мной очень нежны. Я согласилась, потому что не было сил сказать „нет“. Но с тех пор у меня было время прийти в себя. Не считайте меня жестокой. Я ошиблась и очень перед вами виновата. Вы должны меня простить».

«Дорогая, все это вздор. Вам не в чем себя упрекать».

Она пристально на меня посмотрела. Она была совершенно спокойна, в глубине ее глаз даже таилась тень улыбки.

«Я не смогу за вас выйти. Я ни за кого не смогу выйти. С моей стороны глупо было даже подумать об этом»

Я не стал торопиться с ответом. Она была какая-то странная, и я почел за благо не спорить.

«Что ж, не могу же я тащить вас силком к алтарю» — сказал я.

Я протянул ей руку, она вложила в нее свою. Я обнял ее за плечи — она не отстранилась и позволила, как было заведено, поцеловать себя в щеку.

Утром я встречал поезд. В кои веки раз он пришел вовремя. Тим помахал мне из окна, когда его вагон проплыл мимо. Поезд остановился, я подошел; он уже слез и помогал спуститься жене. Он тепло потряс мне руку.

«Где Оливия? — спросил он, скользнув взглядом по перрону. — Познакомьтесь, это Салли».

Я пожал ей руку, одновременно объясняя, почему не приехала Оливия

«Ей пришлось бы вставать в такую рань, правда?» — сказала миссис Харди.

Я сообщил, что порядок действий таков: они едут ко мне перекусить, а потом отправляются домой.

«Мечтаю о ванне», — сказала миссис Харди.

«Будет вам ванна», — пообещал я.

Она и в самом деле была весьма хорошенькая малышка, очень светлая, с огромными голубыми глазами и прямым очаровательным носиком. У нее была удивительно нежная кожа — розы с молоком. Она, конечно, чуть смахивала по типу на хористку, и ее красота могла бы кое-кому показаться довольно слащавой, но в своем стиле она была обаятельна. Мы поехали ко мне; и он и она приняли ванну, а Тим еще и побрился. Я побыл с ним наедине всего несколько минут. Он спросил, как Оливия отнеслась к его женитьбе. Я ответил, что очень расстроилась.

«Этого я и боялся, — заметил он, нахмурившись, и вздохнул: — Я не мог поступить по-другому».

Я не понял, что он хотел сказать. В эту минуту появилась миссис Харди и взяла мужа под руку. Он взял ее руку в свою, нежно пожал и посмотрел на нее довольным и каким-то насмешливо-любящим взглядом, словно не принимал ее совсем уж всерьез, но получал удовольствие от сознания, что она ему принадлежит, и гордился ее красотой. Она и вправду была миловидной. К тому же отнюдь не робкого десятка и быстро соображала; мы не были знакомы и десяти минут, как она предложила мне звать ее просто Салли. Понятно, они только что приехали, и в ней еще не улеглось возбуждение. Ей не доводилось бывать на Востоке, тут у нее от всего дух захватывало. Было ясно как день, что она по уши влюблена в Тима. Она с него глаз не сводила, ловила каждое его слово. Мы весело позавтракали и распрощались. Они сели в свою машину, чтобы ехать домой, я — в свою, чтобы ехать в Лахад. Оттуда я обещал отправиться прямиком на плантацию, да мне и в самом деле пришлось бы дать большого крюка, чтобы заглянуть к себе. Смену белья я прихватил в машину. Я не видел, почему бы Салли не прийтись Оливии по душе: искренняя, веселая, остроумная, совсем молоденькая — ей было никак не больше девятнадцати, — а ее чудесная миловидность не могла не тронуть Оливию. Я был рад, что подвернулась уважительная причина на целый день предоставить эту троицу самим себе, однако из Лахада я выехал с мыслью о том, что они обрадуются моему приезду. Я подкатил к бунгало и посигналил, ожидая, что кто-нибудь выйдет навстречу. Ни души. Дом был погружен во мрак. Я удивился. Стояла мертвая тишина. Я ничего не понимал. Они же должны быть у себя. Очень странно, подумал я. Я еще чуточку подождал, вылез из машины и поднялся по ступенькам. На верхней я обо что-то споткнулся, похоже, о тело. Выругавшись, я наклонился и пригляделся. Человек вскрикнул. Я увидел, что это ама. Когда я к ней прикоснулся, она отпрянула, скорчившись от ужаса, и разразилась стенаниями.

«Что случилось, черт побери?» — заорал я. Тут я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо, и услышал: «Туан, туан».[[14]](#footnote-14) Я обернулся и различил в темноте старшего слугу Тима. Он заговорил придушенным голосом. Я слушал с нарастающим ужасом. То, что он рассказал, было чудовищно. Я оттолкнул его и бросился в дом. В гостиной царил мрак. Я включил свет. Первое, что я увидел, — это съежившуюся в кресле Салли. Мое внезапное появление испугало ее, она вскрикнула. Я едва мог вымолвить пару слов. Я спросил ее, правда ли это. Она сказала, что да, и комната поплыла у меня перед глазами. Мне пришлось сесть. Когда машина с Тимом и Салли свернула на подъездную дорожку и Тим просигналил, объявляя об их прибытии, а слуги и ама выбежали их встретить, раздался выстрел. Они кинулись в спальню Оливии и увидели ее лежащей перед зеркалом в луже крови. Она застрелилась из револьвера Тима.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет, послали за врачом, он отвез ее в больницу».

Я не соображал, что делаю. Даже не удосужился сообщить Салли, куда еду. Я поднялся и вышел, шатаясь. Усевшись в машину, я велел саису что есть мочи гнать в больницу. Я ворвался в приемный покой и спросил, где она. Меня пытались не пустить, но я всех растолкал. Я знал, где палаты для частных пациентов. Кто-то вцепился мне в руку, я вырвался. До меня смутно дошло, что врач приказал никого к ней не пускать. Мне было не до запретов. У двери дежурил санитар; он загородил вход рукой. Я выругался и велел ему убираться. Вероятно, я устроил скандал, но я уже сам себя не помнил. Дверь отворилась, и появился врач.

«Это кто тут шумит? — спросил он. — А, это вы. Что вы хотели?»

«Она умерла?»

«Нет. Но без сознания. Она так и не приходила в себя. Через час-два все будет кончено».

«Я хочу ее видеть».

«Это невозможно».

«Мы с ней помолвлены».

«Помолвлены?! — воскликнул он и так странно на меня посмотрел, что я заметил это даже в тогдашнем моем состоянии. — Тогда тем более».

Я не понял, что он имел в виду, я отупел от этих страшных событий.

«Вы ведь можете как-то ее спасти», — сказал я умоляюще.

Он покачал головой.

«Видели бы вы ее, так не стали бы об этом просить», — произнес он.

Я в ужасе на него уставился. В наступившей тишине я услышал судорожные всхлипывания какого-то мужчины.

«Кто это?» — спросил я.

«Ее брат».

Тут меня тронули за руку. Я обернулся. Это была миссис Серджисон.

«Бедный вы мой, — сказала она, — как я вам сочувствую».

«Почему, почему она это сделала?» — простонал я.

«Уйдемте, голубчик, — сказала миссис Серджисон. — Здесь вы уже ничем не поможете».

«Нет, я должен остаться», — возразил я.

«Что ж, ступайте посидите у меня», — предложил врач.

Я был совсем оглушен и позволил миссис Серджисон отвести меня за руку в личный кабинет врача. Она заставила меня сесть. Я все никак не мог поверить, что это правда. Я внушал себе, что это какой-то чудовищный кошмар, от которого я должен очнуться. Не знаю, сколько мы там просидели. Три часа. Может быть, четыре. Наконец пришел врач.

«Все кончено», — сообщил он.

Тут я не выдержал и разревелся. Меня мало заботило, что они обо мне подумают. Я был в таком горе.

Мы похоронили ее на другой день.

Миссис Серджисон проводила меня до дома и посидела со мной какое-то время. Она хотела, чтобы я пошел с нею в клуб. У меня не хватило духа. Она была само участие, но я вздохнул с облегчением, когда она ушла. Я попробовал читать, однако не понимал ни слова. Внутри у меня все умерло. Вошел слуга, включил свет. Голова у меня раскалывалась от боли. Снова появился слуга и сказал, что меня хочет видеть дама. Я спросил, кто это. Он ответил, что не уверен, но думает, что это новая жена туана с плантации в Путатане. Я не представлял себе, что ей могло от меня понадобиться. Я встал и вышел. Слуга не ошибся. Это была Салли. Я пригласил ее в дом. Я заметил, что она смертельно бледна. Мне ее было жалко. Для девушки ее лет это было скверное испытание, а для новобрачной — жуткий приезд в дом мужа. Она присела. Она была вся на нервах. Чтобы ее успокоить, я принялся говорить банальности. Я чувствовал себя очень неловко, потому что она уставилась на меня своими огромными голубыми глазами, которые просто омертвели от ужаса. Вдруг она меня перебила.

«Кроме вас, я никого тут не знаю, — заявила она. — Больше мне не к кому было идти. Я хочу, чтобы вы меня увезли отсюда».

Я опешил.

«В каком это смысле — увез?» — спросил я.

«Я не хочу, чтобы вы меня расспрашивали. Я хочу одного — чтобы вы меня увезли. Немедленно. Я хочу вернуться в Англию!»

«Но вы не можете сейчас так вот взять да и бросить Тима, — возразил я. Милая моя, нельзя давать волю нервам. Понимаю, каково вам, но подумайте и о Тиме. То есть для него ваш отъезд будет такое несчастье. Если вы его любите, самое меньшее, что вы можете сделать, — это постараться хоть чуточку облегчить его горе».

«Ох, ничего вы не понимаете, — воскликнула она, — а я не могу объяснить. Это так мерзко. Умоляю — помогите мне. Если есть ночной поезд, посадите меня на поезд. Мне бы только до Пенанга добраться, а там уж я сяду на корабль. Мне не хватит сил провести здесь еще одну ночь. Я сойду с ума».

Я был в полном недоумении.

«Тим знает?» — спросил я.

«Я не видела Тима со вчерашнего вечера. И больше никогда не увижу. Лучше смерть».

Я попытался выиграть время.

«Как вы поедете без вещей? Вы собрали багаж?»

«Какое это имеет значение?! — нетерпеливо возразила на. — Все, что понадобится в дороге, у меня с собой».

«А деньги у вас имеются?»

«Мне хватит. Так есть ночной поезд?»

«Есть, — сказал я. — Приходит в самом начале первого».

«Слава Богу. Вы все уладите? Можно я пока побуду у вас?»

«Вы ставите меня в ужасное положение, — сказал я. — Я не представляю, как тут лучше всего поступить. Вы, знаете ли, делаете крайне серьезный шаг».

«Если б вы все узнали, то сами поняли, что по-другому нельзя».

«Ваш отъезд вызовет здесь грандиозный скандал. Трудно представить, какие пойдут разговоры. Вы подумали о том, каково будет Тиму? — спросил я; мне было тревожно и грустно. — Видит Бог, я не рвусь вмешиваться в то, что меня не касается, но раз вы желаете, чтобы я вам помог, я должен понимать, что к чему, чтобы себя не винить. Вы обязаны мне рассказать, что случилось».

«Не могу. Скажу только, что мне все известно».

Она закрыла лицо руками и вздрогнула. Затем встряхнулась, словно отгоняя от себя нечто непередаваемо мерзкое.

«Не было у него права на мне жениться. Это было чудовищно».

Голос у нее сделался пронзительный и визгливый. Я испугался, что у нее вот-вот начнется истерика. Ее хорошенькое кукольное личико было искажено от ужаса, глаза не мигая уставились в одну точку.

«Вы его больше не любите?» — спросил я.

«После такого?»

«Что вы будете делать, если я не стану вам помогать?»

«Надеюсь, тут есть священник или врач. Уж проводить-то вы меня проводите, не откажетесь».

«Как вы сюда добрались?»

«Привез старший слуга. Он откуда-то раздобыл машину».

«Тим знает, что вы уехали?»

«Я оставила ему записку».

«Он узнает, что вы у меня».

«Он не будет пытаться мне помешать. Это я вам обещаю. Он не посмеет. Ради всего святого, не пытайтесь и вы. Говорю вам, еще одна ночь здесь — и я сойду с ума».

Я вздохнул. В конце концов, она была достаточно взрослая, чтобы распоряжаться собой.

Я, записавший все это, долго молчал.

— Вы поняли, что она имела в виду? — наконец спросил я Фезерстоуна.

Он посмотрел на меня долгим измученным взглядом.

— Она могла иметь в виду только одно, то, о чем нельзя сказать вслух. Да, я понял, можете не сомневаться. Это все объясняло. Бедная Оливия. Бедная моя любимая. Вероятно, я забыл тогда о логике и здравом смысле, но эта хорошенькая белокурая малышка с затравленными глазами в ту минуту вызывала у меня одно отвращение. Я ее ненавидел. Я помолчал, потом сказал, что сделаю все, как она хочет. Она даже не сказала «спасибо». По-моему, она догадалась о моих чувствах. Когда пришло время обедать, я заставил ее поесть. Она спросила, не найдется ли комнаты, где она смогла бы прилечь до того, как нужно будет ехать на станцию. Я отвел ее в свободную спальню и оставил одну. Сам я уселся в гостиной и принялся ждать. Господи, как же медленно тянулось время. Я думал, часы никогда не пробьют двенадцать. Я позвонил на вокзал, мне сказали, что поезд придет около двух ночи. В полночь она пришла в гостиную, мы прождали с ней полтора часа. Говорить нам было не о чем, поэтому мы молчали. Потом я отвез ее на вокзал и посадил на поезд.

— А грандиозный скандал — он был или нет?

Фезерстоун скривился.

— Не знаю. Я уехал в краткосрочный отпуск, а после получил назначение на новое место. До меня дошли слухи, что Тим продал плантацию и купил другую, но я не знал, где именно. Когда я его здесь увидел, я поначалу просто опешил.

Фезерстоун встал, подошел к столу и налил себе виски с содовой. В наступившем молчании я услышал монотонное кваканье лягушачьего хора. И тут с дерева неподалеку от дома подала голос птица, которую в здешних краях прозвали «птичка-лихорадка». Сперва три ноты в понижающейся хроматической гамме, затем пять, затем четыре. Ноты, меняясь, следовали одна за другой с тупым упорством, против воли заставляя прислушиваться и вести им счет. Поскольку же угадать их число было никак невозможно, это было форменной пыткой.

— Будь она проклята, эта птица, — сказал Фезерстоун. — Значит, мне ночью не спать.



1. Издававшийся в 1839–1961 гг. справочник расписания движения на железных дорогах Великобритании – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Вещи, багаж *(малайск.).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Федеративные Малайские Штаты – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Национальная одежда, представляющая собой кусок ткани, обернутый вокруг бедер в виде юбки ниже колен – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Род пальм – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-5)
6. История взаимоотношений Байрона и его сводной сестры Августы Ли изложена в книге «Астарта» (1905) Р. Милбэнка – *прим. ред.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Закрытая школа‑интернат для мальчиков – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-7)
8. Блюдо из риса на мясном бульоне с тертым сыром и специями. [↑](#footnote-ref-8)
9. Комедия У. Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно» – *прим. ред.* [↑](#footnote-ref-9)
10. То есть относящееся к эпохе правления (1558–1603) английской королевы Елизаветы I – *прим. ред.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Историческая область на северо‑западе Балканского полуострова от среднего течения Дуная до Адриатического моря, населенная иллирийцами‑ обширной группой индоевропейских племен; незадолго до начала новой эры была завоевана римлянами – *прим. ред.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Саис *(инд.)*  – конюх, грум; здесь – шофер – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Ама *(инд.)*  – кормилица, няня; горничная, камеристка – *прим. автора.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Господин *(малайск.).* [↑](#footnote-ref-14)